

Слово против слова

Последнее слово

Остросюжетный
роман

Caro Amico

Non lo so... a almeccì no lo
le mento si... mo cicemo, soer
che lo villanta... alio. Io pauto
ti porro sttore di lee... a smorto un
lapiansiozo è nona m... neme
per pillà avia c'rimo a...
... un in fare pra...

Елена Копс

18+

Елена Копс

**Слово против слова.
Последнее слово.**

«Автор»

2026

Копс Е.

Слово против слова. Последнее слово. / Е. Копс — «Автор», 2026

Каждое слово имеет значение, но лишь одно окончание способно спасти или разрушить жизнь. В завершающей части захватывающей трилогии «Слово против слова» независимый лингвист Вера Лисовская и бывший глава холдинга Марк Раевский сталкиваются с самым изощрённым испытанием. Накануне свадьбы Марка обвиняют в организации убийства на причале. Единственные свидетели — бывший бригадир, давший признательные показания, и отец Веры, пятнадцать лет пробывший в тени средиземноморского синдиката. В зале суда разворачивается виртуозная процессуальная дуэль: обвиняемый отказывается говорить по-русски, и показания проходят через сложную цепочку перевода. Вере предстоит сделать невозможный выбор между слепой верностью отцу и любовью к человеку, принявшему её до конца. «Последнее слово» — эмоциональный и интеллектуальный финал трилогии (ранее вышли «Переводчица» и «Голос с того света»). Роман о силе языка, глубине прощения и цене настоящей правды.

© Копс Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	9
Глава 3	12
Глава 4	15
Глава 5	18
Глава 6	20
Глава 7	23
Глава 8	26
Глава 9	29
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Елена Копс

Слово против слова. Последнее слово.

Последнее слово

Книга третья трилогии «Слово против слова»

Записи А. Л. СИЗО №1, август

Окно здесь под самым потолком, узкое, с решёткой в два ряда. Если встать на нары и вытянуть шею, видно кусок неба и угол соседнего корпуса. Сосед по камере, мальчишка из Балтийска, сидит за кражу катера и каждое утро спрашивает меня, правда ли, что в Италии море тёплое даже в ноябре. Я говорю, что правда. Он не верит, но спрашивает снова.

Бумагу дают по просьбе, по десять листов, ручку на час. Ручка шариковая, синяя, пишет бледно и рвёт лист, если нажать. Я пишу ночью, когда сосед спит и коридорный проходит реже. Сейчас 03:14. Я специально посмотрел на часы, чтобы поставить время. Она поймёт, зачем.

Я слышал от адвоката, что здесь, в этом же блоке, сидел её Раевский. Почти тот же этаж. Может быть, он смотрел на этот же угол корпуса и на этот же кусок неба. Мне это неприятно, и я не могу объяснить почему.

Я написал ей письмо. Три строчки. Я переписывал их одиннадцать раз, как когда-то переписывал запись Луки. Это моя болезнь, я не могу сказать ничего с первого раза. В первом варианте было «прости». В пятом было «я тебя люблю». В последнем нет ни того, ни другого, потому что это не перевод, а приглашение, а в приглашениях лишнего не пишут.

Я дал ей последнее, что у меня есть. Имя. Человека, который стоял на причале в ту ночь третьим, она узнает только от меня, и только так, как я захочу. Пусть теперь решает, чей голос ей дороже.

Завтра ко мне придёт человек из Милана. Адвокат. Он написал, что представляет «заинтересованную сторону». Я знаю, чью. Я ещё не решил, что ему скажу. Я пятнадцать лет говорил то, что от меня хотели услышать, и разучился решать заранее.

Мальчишка во сне что-то бормочет про катер. Коридорный остановился у двери, посмотрел в глазок и ушёл. Небо в окне начинает сереть.

Глава 1

Invito (ит.) – приглашение. Однокоренное с vittima? Нет, это народная этимология, неверная. Но итальянцы её любят. Говорят: кого пригласили, того уже выбрали. А. Л.

Ниже, карандашом: «Ты всегда говорил, что народная этимология врёт. А сам в неё верил».

Марк вернулся от Байкова в двадцать минут второго. Я услышала машину раньше, чем увидела: «Маяк» стоит в конце длинной песчаной дороги через сосны, и любой мотор слышно минуты за две, сначала тихо, потом ближе, потом шуршание шин по гравию у ворот. Я сидела на террасе с письмом в кармане кардигана и за последние два с половиной часа ни разу его не достала. Оно лежало там, и я чувствовала его через ткань, конверт, плотный, казённый, со штампом «Проверено» в углу.

Я встала раньше, чем машина остановилась. Пошла к воротам. Бруно пошёл со мной, потом обогнал меня и сел у калитки, как садится всегда, когда кто-то из своих возвращается.

Марк вышел из машины, увидел меня у ворот и сразу перестал улыбаться. Он не спросил, что случилось. Он закрыл дверцу и подошёл.

– Пойдём на кухню, – сказала я.

– Пойдём.

На кухне было тепло и пахло укропом. Савва с утра варил уху на всех, большую кастрюлю, и ушёл в «Кнехт» за хлебом, сказав, что вернётся к трём. Бачичча спал наверху, в гостевой, после ночи у Саввы в баре. Они вдвоём выпили вчера столько, что Ион утром сфотографировал пустые бутылки и отправил фото кому-то в Геную с подписью, которую я не стала переводить Марку. Даша с Корсаком уехали в город. Дом был наш.

Я села за длинный стол. Марк сел напротив. Положил руки на стол ладонями вниз, как всегда, когда собирается слушать. Я достала конверт и положила перед ним.

– Это пришло в половине одиннадцатого, – сказала я. – Курьер из ФСИН. Я расписалась.

Он посмотрел на штамп. На своё имя он не смотрел, его там не было. Только моё, полностью, с отчеством, напечатанное на машинке.

– Читай, – сказала я. – Я не хочу пересказывать. Я хочу, чтобы ты прочитал сам.

Он достал лист. Развернул. Прочитал. Я смотрела, как он читает. Он читает медленно, двигая глазами по строчке до конца, даже если строчка короткая, и это у него, наверное, с тех времён, когда он читал накладные и искал в них то, чего там нет. Три строчки он читал секунд двадцать. Я считала.

Потом он достал фотографию.

Он держал её долго. Сначала просто смотрел. Потом поднёс ближе к окну, к свету. Потом положил на стол и наклонился над ней, так что я видела его затылок, коротко стриженный, с сединой, которая за этот год стала заметнее. Я не мешала. Я сидела и слушала, как он дышит. Сначала ровно. Потом вдох стал длиннее, а выдох короче, и на выдохе он чуть сжал зубы, я это слышала по тому, как изменился звук.

Бруно положил морду мне на колено.

Я сделала то, о чём мы договорились на косе, под красным июньским солнцем. Я не стала ждать, пока решу, что можно рассказать, а что лучше потом. Я показала ему всё сразу, в первые же полчаса, хотя каждая клетка во мне кричала, что это моё, что это папино письмо, что «только твоим голосом» написано мне, а не ему. Я чувствовала облегчение, такое сильное, что хотелось плакать. И страх тоже. Они сидели во мне рядом и не мешали друг другу.

– Вер, – сказал Марк, не поднимая головы.

– Да.

– Ты сразу. Ты мне сразу показала.

– Мы договорились.

Он поднял голову и посмотрел на меня. Не долго. Как будто хотел убедиться, что я правда здесь. Потом снова опустил глаза на фотографию.

– Это он, – сказал он. – Твой отец. В центре.

– Да.

– А это Лапин.

– Да. Я видела его фото в деле.

Марк положил палец на снимок, на третьего человека, того, что справа, спиной к фонарю. Лица у него не было, только тень, а на спине белые буквы, наискосок, наполовину: «...ЕРНАЯ ГАВ...».

– Куртка наша, – сказал он. – Ты это и так видишь. Только это ничего не значит, мы же знаем, что сорок комплектов со склада Гранина ушли неизвестно куда. Люди твоего отца ходили в таких к Сёмину.

– Знаю.

– Но посмотри, как он стоит.

Я посмотрела. Человек стоял, чуть развернувшись к Лапину, ноги расставлены. Правая нога немного впереди. Вес на левой. Плечи тяжёлые, опущенные. Правая рука вдоль тела, и в ней что-то тёмное, а может быть, ничего.

– Так стоят люди, которые долго работали на причале, – сказала я. – Я об этом подумала, как только увидела. Ещё утром.

– Не все, – сказал Марк. – Видишь правое колено? Он его не нагружает. Совсем. Стоит на левой, а правую держит, как будто она чужая. У меня был человек, которому в две тысячи четвёртом году контейнер раздавил правое колено. Он потом пять лет так стоял. И сейчас так стоит. Я его вёз в больницу, на своей машине, через весь город. Он мне тогда всю обивку на заднем сиденье залил кровью.

Он помолчал. Я ждала.

– Ткач, – сказал Марк. – Это похоже на Ткача.

Я знала эту фамилию. Я знала её из рассказа Марка в марте, на кухне на канале, когда он вернулся из порта и сказал, что уволил двух бригадиров. Сазонов и Ткач. «Мы с вами с девяносто восьмого». Марк тогда рассказывал это спокойно, как рассказывают о необходимой операции, и только вечером, уже в постели, вдруг сказал в темноту, что Ткач посмотрел на него так, будто не узнал.

– Похоже, – повторила я. – Или он?

– Я не знаю. Лица нет. – Марк провёл пальцем по краю фотографии. – Рост такой. Плечи такие. Колено. Но это могут быть и другие колени, Вер, в порту полно мужиков с разбитыми ногами. Я сейчас смотрю и хочу, чтобы это был не он, и поэтому не верю своим глазам. И хочу, чтобы это был он, потому что тогда всё понятно, и тоже не верю.

Он сказал это ровно, без жалобы. Я записала бы эту фразу, если бы у меня в руках был дневник. Марк за год научился говорить о себе так, как я учила его говорить по-итальянски: медленно, проверяя каждое слово, прежде чем его поставить. Год назад он бы сказал «это не он» или «это он» и сразу начал бы что-то делать.

– Что значит «только твоим голосом»? – спросил он.

Я ждала этого вопроса. Я думала над ним с половины одиннадцатого.

– Он хочет, чтобы я переводила его в суде, – сказала я. – Он говорит только на генуэзском. Ты знаешь, Эльвира рассказывала. Других переводчиков он не признаёт. Он назовёт имя стрелявшего, только если переводить буду я.

– А ты не можешь.

– Не могу. Шестьдесят первая статья. Переводчик не может участвовать в деле, если он родственник кого-то из участников. Шестьдесят девятая – отвод переводчика. Это не обсуждается. Меня отведут на первом же заседании, даже если я сама промолчу. А я не промолчу.

– Он это знает.

– Конечно, знает. – Я посмотрела в окно. Над дюнами висело белёсое августовское небо, и залив под ним был светлый, почти бесцветный, такой бывает только в конце лета, несколько дней. – Он пятнадцать лет переводил контракты Матильде. Он знает наш процессуальный кодекс лучше половины зееградских адвокатов. Он знает, что я не смогу. И всё равно пишет.

– Тогда зачем?

Я не ответила сразу. В доме было тихо. Где-то наверху скрипнула кровать, Бачичча повернулся во сне. В кастрюле на плите тихо булькала уха, Савва оставил её на самом маленьком огне.

– Я не знаю, – сказала я. – Я сидела с этим письмом два с половиной часа и не знаю. Может быть, он хочет, чтобы я сидела в зале и слушала, как его переводят другие. Каждое слово. И не могла ничего сделать. Может быть, он думает, что я не выдержу и встану. Может быть, ему просто нужно, чтобы я была там. – Я помолчала. – А может быть, он хочет что-то, чего я пока не вижу. Он всегда так делает. Он оставляет фразу, и смысл у неё появляется только потом, когда уже поздно.

Марк кивнул. Посмотрел на письмо, на три строчки синей бледной ручкой.

– Ты боишься, – сказал он.

– Да.

– Чего больше?

– Того, что он знает, кто стрелял, и что это кто-то, кого знаешь ты, – сказала я. – Я подумала об этом ещё утром, когда увидела куртку. И не хотела думать дальше.

Он не отвёл глаз. Я была ему за это благодарна. Он сидел напротив, положив руки на стол, и смотрел на меня, и я видела, что ему тоже страшно, и что он не будет этого прятать.

Потом он медленно положил ладонь на фотографию. Закрыв ею третьего человека. Целиком, от плеч до колена, так что на снимке остались только Лапин с поднятой рукой и папа в сером пальто, наклонивший голову, как он всегда наклонял её, когда переводил.

– Если это он, – сказал Марк, – это мой человек. Я его ставил.

Глава 2

Tentazione (ит.) – искушение. Корень tentare: пробовать, щупать, испытывать на прочность. Искушение – это не желание. Это проверка, выдержит ли опора. А. Л.

Ниже, карандашом: «Марк сказал, что у них на причале это называется "испытание под нагрузкой". Я записала».

Ночью я сидел на кухне один.

Вера уснула в первом часу, наверху, в комнате в башне. Я посидел рядом, пока она не заснула, потом спустился. Бруно спустился со мной, лёг у моих ног и сразу уснул, тяжело вздыхая. Савва храпел в гостевой на первом этаже. Бачичча наверху. В доме было много людей, и все спали.

Фотография лежала на столе передо мной. Я положил рядом лампу, настольную, из библиотеки, и повернул так, чтобы свет падал сбоку, низко. Так лучше видно рельеф, это я знаю с тех пор, как проверял сварные швы на стрелах кранов. Прямой свет всё сглаживает. Боковой показывает, где выпуклость, где провал.

Я смотрел на третьего человека.

Он стоял метрах в трёх от Лапина. Дальше, чем Андрей. Андрей был почти вплотную, в шаг, наклонившись к уху, так переводят шёпотом. Этот стоял на дистанции. Не близко, не далеко. На такой дистанции стоят, когда не хотят, чтобы тебя задело, если что-то начнётся. Или когда собираются начать сами.

Правая рука вдоль тела. В ней что-то тёмное. Я смотрел на это тёмное минут десять. Под боковым светом было видно, что оно не продолжает руку прямо, а уходит под небольшим углом вперёд. Так висит пистолет в опущенной руке, когда палец не на спуске, а вдоль ствола. Так держит тот, кого учили. Или тот, кто видел, как держат, и запомнил.

Колено. Правое. Он его действительно не нагружал. Вес на левой, правая чуть вперёд и согнута, носок развёрнут наружу.

Я вспомнил две тысячи четвёртый год. Февраль, ночная смена, мокрый снег. Я тогда уже не сидел в кабине, я уже был бригадиром на седьмом и девятом, а Ткач работал у меня стропальщиком. Контейнер сорвался со спредера на высоте метра, не высоко, но этого хватило. Ткача прижало к соседнему штабелю. Правое колено. Я вытащил его, положил на заднее сиденье своей старой машины, и он всю дорогу до больницы молчал, только держался за ручку двери, и на поворотах ручка скрипела. Он не сказал ни слова. Он вообще мало говорил, я поэтому его и выбрал потом. Врачи собирали ему колено четыре часа. Через два месяца он вышел на работу и полгода ходил с палкой, а потом бросил палку и стал стоять так, как стоит этот человек на снимке.

Я ему тогда дал денег на лечение. Немного. Он вернул через год, все, до копейки, положил конверт на мой стол и ушёл, ничего не сказав.

Я сидел и думал, что я про этого человека знаю. Что он работал со мной с девяносто восьмого. Что я его поставил бригадиром на седьмой в две тысячи девятом, когда пошли первые итальянские контракты, и что он ни разу ничего не перепутал. Что через седьмой шло то, что я велел ему пропускать, и он пропускал, и молчал. Что в марте я положил перед ним конверт с расчётом и сказал, что увольняю его, потому что он слишком хорошо помнит мои схемы. Что он посмотрел на меня, как на чужого, и ушёл в туман.

А в сентябре прошлого года, если это он, он стоял на моём причале, в моей куртке, с пистолетом в опущенной руке, в трёх метрах от человека, которого потом нашли мёртвым у воды.

В сентябре прошлого года я ещё был тем, кто строил схемы. Седьмой причал ещё работал. Ткач ещё был моим бригадиром. И если он там стоял, значит, он стоял там, когда я думал, что знаю о своём порту всё.

Я взял телефон.

Номер Корсака у меня первый в списке. Я его не набирал, я просто смотрел на экран, где светилось «Ян». Я знал, что будет, если нажму. Корсак не спросит, зачем. Он спросит только «как быстро». И через двое суток, может быть, через трое, он найдёт Ткача, где бы тот ни был. Корсак знает, где искать таких, как Ткач: у кого он мог занять денег, кому он звонил с работы, где его жена держит банку с отложенными на чёрный день, на какой рыбалке его можно застать в пять утра. Я сам его учил. А потом Ткача привезут куда-нибудь, где тихо, и я поговорю с ним. Не так, как говорил с Голиковым. Так, как говорил с Граниным год назад.

И к утру понедельника я буду знать, он это или нет. И что он делал на причале. И кто его туда поставил.

Я сидел с телефоном в руке и чувствовал, как это лежит во мне. Не мысль даже. Мышца. Как у крановщика, который двадцать лет не садился в кабину, а потом сел, и руки сами легли на рычаги, и всё помнят. Я двадцать лет так решал вопросы. Это работало. Это и сейчас бы сработало. Это было бы быстро, точно и надёжно, и никто, кроме Корсака и меня, не узнал бы.

И это сломало бы всё, что я построил за этот год.

Я не про порт, не про проверки, не про Байкова. Про другое. Про страницу в Верином дневнике, где на косе под красным солнцем стоят три слова и две подписи. Про то, что она утром показала мне письмо отца сразу, за полчаса, хотя ей было страшно, и я видел, как ей страшно. Она выдержала. Если я сейчас позвоню Корсаку, значит, я не выдержал. Значит, нагрузку держит только одна опора из двух.

И ещё. Если Ткач – это Ткач, а я его вывезу и выбью из него правду, эта правда в суде будет стоять ровно ноль. Любой адвокат скажет, что её выбили. И что Раевский, который сам ставил этого человека бригадиром, сам же его и допрашивал без протокола, и что получил ровно то, что хотел получить. Я годами смотрел, как такое разваливается. Я сам такое разваливал.

Я положил телефон экраном вниз.

Посидел ещё. Бруно перевалился на другой бок и положил морду мне на ботинок. Лампа гудела. За окном было темно, только на соседнем мысу мигал маяк.

Я убрал фотографию в конверт, конверт положил на подоконник и пошёл спать.

Утром я уехал рано, до того, как все проснулись. Вера спала, и я не стал её будить, оставил на кухонном столе записку: «Поехал к Гореловой. Фото взял. Вернусь к обеду. М.» Я подумал, стоит ли написать зачем, и решил, что она поймёт.

Горелова сидела в своём кабинете на втором этаже следственного управления, в том самом, с чайником, который она так и не поменяла. Когда я вошёл, она подняла голову от бумаг и долго на меня смотрела. Я ни разу не приходил к ней сам. Она вызывала меня шесть раз за последний год, и все шесть раз я приходил с Эльвирой и отвечал «пятьдесят первая».

– Раевский, – сказала она. – Без адвоката?

– Без.

– Садитесь.

Я сел. Положил на стол конверт. Она не взяла его сразу. Посмотрела на штамп, на «Проверено», на имя Веры.

– Это письмо Андрея Лисовского дочери, – сказал я. – Вера разрешила вам его показать. Внутри фотография. Это причал номер семь, ночь, когда убили Лапина. Там трое. Лапин, Лисовский и ещё один. Лица не видно. Куртка наша.

Горелова открыла конверт. Достала фото. Посмотрела. Я видел, как у неё изменилось лицо, совсем немного, у рта.

– Вы знаете, кто это? – спросила она.

– Нет. Я думаю, что это может быть Николай Ткач, мой бывший бригадир. По осанке, по росту, по колену. Он повредил правое колено в две тысячи четвёртом году. Я уволил его в марте. Где он сейчас, я не знаю.

– Почему вы мне это говорите?

Я не сразу ответил. Она ждала.

– Потому что вчера ночью я хотел найти его сам, – сказал я. – У меня есть для этого люди и способы. Я держал телефон в руке. Если бы я его нашёл, вы бы его не получили. Или получили бы такого, с которым в суде ничего нельзя сделать.

Горелова откинулась на стуле. Посмотрела на меня так, как, наверное, смотрит на свидетеля, который вдруг сказал что-то, чего не было в его прошлых показаниях.

– Вы понимаете, что если это ваш бригадир, – сказала она медленно, – то следующий вопрос будет к вам? Кто его туда поставил. Чей это был причал. Чья схема.

– Понимаю.

– И всё равно пришли.

– Пришёл.

Она долго молчала. Потом сложила фотографию обратно в конверт и убрала в ящик стола. Ящик закрыла на ключ.

– Я сделаю копию для дела и верну Вере Андреевне оригинал, – сказала она. – Николая Ткача я буду искать официально. Через розыск, через запросы, по-сучному. Это дольше, чем у ваших людей.

– Я знаю.

– И, Раевский. – Она посмотрела на меня. – Спасибо. Я не думала, что когда-нибудь вам это скажу.

Я вернулся на «Маяк» к обеду. Вера сидела на террасе с ноутбуком и подняла голову, когда я вышел к ней. Ничего не спросила. Я сел рядом и рассказал. Она слушала, а потом взяла мою руку и подержала. Недолго. Этого хватило.

Корсак приехал в четвёртом часу. Я увидел его машину у ворот и вышел на крыльцо. Он поднялся по ступенькам, достал сигареты и закурил, глядя на дюны. Это значит, что разговор будет короткий и неприятный.

– Марк Александрович, – сказал он. – Вы меня ни о чём не просили. Я знаю. Но Горелова звонила мне час назад, спрашивала, не знаю ли я, где Ткач. Я ей сказал, что не знаю. Это правда. А потом я сделал два звонка. Просто так. Для себя.

Я ждал.

– Ткача нет в городе с марта, – сказал Корсак. – С того дня, как вы его уволили. Жена говорит, уехал на заработки. На север, на вахту. Говорит спокойно, как будто заучила. – Он затаился. – А тёща его, она живёт в области, в посёлке, я ей позвонил, представился из пенсионного фонда. Она сказала, что Коля умер.

– Умер?

– Так и сказала. Умер Коля, весной. Похоронили. – Корсак выпустил дым. – А когда я спросил, где похоронили, она положила трубку.

Глава 3

Transazione (ит.) – мировое соглашение. И ещё сделка. И ещё переход, перемещение. Итальянцы называют одним словом момент, когда спор кончается, и момент, когда вещь переходит в чужие руки. Они знают, что это одно и то же. А. Л.

Ниже, карандашом: «Валли произносил это слово так, как будто пробовал вино».

Антон позвонил в понедельник в семь утра и сказал, что мне надо приехать на элеватор, и что это не по телефону.

Я больше не глава холдинга. Это я решил сам в июне, на время проверки, и Байков удивился, когда я ему сказал, а Эльвира сказала, что я первый клиент за тридцать лет, который сам себя разжаловал. Кабинет под крышей теперь Антона. Я туда приезжаю раз в неделю, как акционер, и каждый раз останавливаюсь в дверях, потому что всё ещё жду увидеть на столе свои папки, а там его. Антон за два месяца переставил стол ближе к окну, поставил на подоконник кактус и повесил на стену старую фотографию порта шестидесятых годов, которую нашёл в архиве. Я ничего ему не сказал. Мне понравилось.

Он сидел за столом, когда я вошёл, с телефоном в одной руке и распечаткой в другой. Эльвира сидела напротив, в кресле для посетителей, в сером костюме, с незажжённой сигаретой. Значит, всё было плохо уже давно, она приехала раньше меня.

– Лондон, – сказал Антон и протянул мне распечатку.

Это было уведомление. Высокий суд Англии, коммерческий суд, арбитражная палата. Истец *Lanterna Shipping S.p.A.*, ответчик «Северная гавань». Предмет иска – неисполнение контрактов на терминальное обслуживание, заключённых в период с две тысячи двенадцатого по прошлый год, подписанных от имени ответчика уполномоченным лицом Граниным В. П. Сумма иска. Я посмотрел на сумму и положил лист на стол.

– И обеспечительные меры, – сказала Эльвира. – Они просят арест на терминал. Весь. Второй и четвёртый причалы, склады, краны. До решения по существу. Слушание по обеспечению через пять недель.

– Они имеют право?

– Если английский суд признает, что контракты действительны, а наши возражения несостоятельны, они могут попробовать исполнить это решение здесь. Это долго и сложно, и наш суд может отказать. Но пока это тянется, ни один иностранный банк не даст тебе кредит под терминал, ни одна линия не подпишет долгий контракт, а *Ligurian Mutual* так и не вернётся. – Эльвира покрутила сигарету в пальцах. – Это не про деньги, мальчик мой. Это про то, чтобы ты задохнулся.

Я подошёл к окну. Порт внизу работал. Две линии на втором причале, литовский балкер, турецкий сухогруз с плиткой. Четвёртый кран, отцовский, стоял без дела, ему меняли гидравлику. Я посмотрел на него и подумал, что если они получают арест, этот кран будет стоять под их пломбой. Я не мог это представить. Я пробовал и не мог.

– Контракты Гранина, – сказал я. – Те, что я отдал Байкову в июне.

– Те самые. Копии у *Lanterna* были всегда. Они их тогда присылали тебе по одной, как открытки. Помнишь? Теперь они их принесли в суд.

– А Матильде под арестом.

– Матильде под арестом в Генуе, – сказала Эльвира. – А *Lanterna* – это компания. Компании не сажают. У компании есть совет директоров, юристы и деньги. И, как я понимаю, новый человек, который этим всем занимается.

Антон посмотрел на часы.

– Он будет здесь через сорок минут, – сказал он. – Он позвонил в пятницу. Попросил встречи со «всеми, кто принимает решения». Я сказал, что решения принимаю я. Он сказал, что будет рад видеть и господина Раевского. Как акционера.

– Кто он?

– Эрнесто Валли. Адвокат. Милан.

Валли пришёл ровно через сорок минут. Один. Без переводчика, без помощника. Высокий, худой, лет шестидесяти, в светло-сером костюме, который на нём сидел так, будто он в нём родился. Седые волосы зачёсаны назад, загорелое лицо, очки в тонкой золотой оправе. Портфель кожаный, старый, тёмный, с потёртыми углами. Это я отметил. Портфель он носит двадцать лет и не собирается менять. Как Никколò ботинки. Они все одинаковые, эти люди, они знают, сколько стоит вещь, и не меняют её ради впечатления. Впечатление они производят по-другому.

Он пожал руку Антону, потом Эльвире, потом мне. Рукопожатие сухое, лёгкое, недолгое. Сел туда, куда показал Антон, положил портфель на колени и не открыл его.

– Благодарю за время, – сказал он по-русски. Акцент был, но небольшой, мягкий, и он не путал падежи. – Я постараюсь быть кратким. Господин Раевский, госпожа Штерн, господин Раевский-младший. Я представляю интересы Lanterna Shipping. Вы уже получили уведомление из Лондона. Я хочу, чтобы вы знали: моя задача не выиграть этот процесс. Моя задача сделать так, чтобы он был не нужен.

Он помолчал. Посмотрел на кактус на подоконнике, потом на фотографию порта на стене, потом на меня.

– Компания готова отозвать иск, – сказал он. – Полностью. Без компенсации. При одном условии. «Северная гавань» подписывает с Lanterna договор на терминальное обслуживание сроком на десять лет. Не продажа, не доля. Сервис. Мы приводим суда, вы их разгружаете, мы платим по рыночному тарифу. Даже немного выше рыночного. Это всё.

Эльвира засмеялась. Тихо, сухо, одним горлом.

– Это то же самое предложение, которое синьора Пароди делала моему клиенту в мае, – сказала она. – На террасе в Нерви. Под шум моря. Вы его просто перевели с итальянского на юридический.

– Синьора Пароди больше не руководит компанией, – сказал Валли спокойно. – Синьора Пароди сейчас занята другими вещами. А предложение хорошее. Оно было хорошим в мае и осталось хорошим сейчас.

Я смотрел на него. Он смотрел на меня. Он ждал, что я заговорю, и я видел, что он уже знает, что я скажу, и пришёл не за ответом.

– Нет, – сказал я.

– Вы не хотите подумать?

– Я думал в мае. В Нерви. Мне хватило.

Валли кивнул, как будто я подтвердил его прогноз погоды.

– Я понимаю, – сказал он. – Тогда мы встретимся в Лондоне. Слушание через пять недель. Там будет скучно, господин Раевский, очень скучно и очень дорого. Ваша сторона будет объяснять английским судьям, почему контракты, подписанные вашим финансовым директором, недействительны, а мы будем показывать, сколько лет вы по ним работали. – Он встал, взял портфель. – Это не угроза. Это расписание.

Он пожал всем руки, в том же порядке, Антону, Эльвире, мне. Пошёл к двери. У двери остановился, повернулся и посмотрел на меня с лёгкой улыбкой, такой, с какой показывают знакомым фотографию внуков.

– Да, ещё одно, господин Раевский, – сказал он. – Я сегодня утром виделся с вашим будущим тестем. В СИЗО. Очень интересный человек, очень образованный. Мы говорили больше двух часов. Он передаёт вам поздравления. – Пауза. – С предстоящей свадьбой.

Дверь закрылась.

Антон медленно сел. Эльвира смотрела на дверь и крутила сигарету в пальцах так быстро, что та в конце концов сломалась пополам. Она посмотрела на две половинки у себя в руке, бросила их в пепельницу на столе Антона, хотя Антон не курит и пепельница стоит для неё.

– Я тридцать лет в профессии, – сказала она. – Я видела, как люди угрожают. Кричат, стучат кулаком, обещают убить. С такими легко. А такие, как этот, приходят, говорят «это не угроза, это расписание» и уходят. – Она посмотрела на меня. – Он был у Андрея, мальчик мой. До того, как прийти к тебе. Он начал не с тебя.

Я стоял у окна. Внизу четвёртый кран всё так же стоял с открытым гидравлическим блоком, и около него возились двое в оранжевых жилетах.

Я представил себе это. Не как картинку, а как схему, так, как я всегда представлял себе сложную погрузку. Лондонский иск давит на порт. Это первая опора. Андрей сидит в СИЗО и обещает назвать стрелявшего. Это вторая. Валли ходит между ними. Если стрелявший – мой бывший бригадир, то вторая опора тоже давит на порт, только с другой стороны. И они сходятся где-то посередине, и там, в точке схождения, стою я. И Вера.

Вере я рассказал вечером, на косе, когда мы гуляли с Бруно. Я рассказал всё, по порядку, как было: Лондон, Валли, сорок минут, «это не угроза, это расписание», «он передаёт вам поздравления». Она слушала, глядя на воду. Когда я дошёл до «два часа в СИЗО», она остановилась.

– Он был у папы, – сказала она. – До того, как прийти к тебе.

– Эльвира сказала то же самое.

Вера долго стояла у самой воды. Волны доходили до её кроссовок и откатывались, и она не отступала.

– Значит, папа уже решает, – сказала она наконец. – Он ещё в письме сказал. Только твоим голосом. А теперь к нему ходит человек из Lanterna. Значит, решает не только он.

Глава 4

Corredo (ит.) – приданое. Буквально «снаряжение». Всё, что невеста берёт с собой в новый дом: бельё, посуду, серебро. В Генуе в приданое клали ещё и рецепт песто, записанный рукой матери. А. Л.

Ниже, карандашом: «Мама привезла серьги. Рецепта не было».

Свадьба была назначена на двенадцатое сентября, на субботу, и все две недели до неё «Маяк» жил так, как живут дома, в которые собираются гости. То есть шумно, бестолково и с постоянным ощущением, что ничего не успеваешь.

Платье привёз Бачичча, в коробке, перевязанной лентой, в последний четверг августа, вместе с собой и Ионом. Я открыла коробку в комнате в башне, одна, и долго сидела над ним, не трогая. Белое, но не совсем. Пожилая продавщица с Виа XX Сеттембре написала в записке: «Как вода в Боккадассе на рассвете». Так и было. Оно было белое с чем-то серым внутри, с чем-то голубым, тонкое, простое, без единой блёстки, с длинными узкими рукавами и маленькими пуговицами на спине, обтянутыми той же тканью. Пуговиц было тридцать две. Я их посчитала дважды.

Даша сказала, что застегнуть их одной невозможно и что она лично берёт эту работу на себя. Потом подумала и сказала, что, может быть, лучше Корсак, у него руки спокойнее. Потом покраснела и сказала, что пошутила.

Даша с Корсаком теперь не притворялись. Корсак по утрам варил на «Маяке» кофе на всех, в большой турке, которую привёз откуда-то из своей квартиры, и Даша спускалась к завтраку в его футболке, и Савва каждый раз ронял ложку, и все делали вид, что ничего не происходит. Однажды я услышала, как Корсак на крыльце тихо говорит ей что-то, и она смеётся, и потом молчит, и я ушла с крыльца, чтобы не слушать. Я поймала себя на том, что ушла, чтобы не слушать, и мне это понравилось.

Савва занимался меню. Он занимался им так, как другие люди занимаются войной: с картами, со списками, с угрозами. Праздник после кирхи будет в «Кнехте», это не обсуждалось, и Савва ходил по кухне «Маяка» с тетрадкой в клетку и записывал, кто что ест. Бачичча не ест печенье. Нинетта, которая прилетит в среду, ничего не ест, кроме макарон, это Ассунта предупредила по телефону. Эльвира ест всё, но только до шести вечера, а потом курит. Даша вегетарианка по понедельникам. Марк ест всё, что дадут, лишь бы с корицей. Я ем мало.

– А ты, Верка, что? – спросил Савва, остановившись надо мной с карандашом. – Тебе что сделать?

– Салаку, – сказала я. – Как в первый раз. В газете.

– В газете на свадьбу нельзя.

– Тогда без газеты.

Он записал. Подумал. Зачеркнул и написал снова, крупнее.

Бачичча и Савва за эти две недели стали чем-то вроде одного человека в двух телах. Они не говорили на одном языке. Бачичча знал по-русски слов десять, и все они были неприличные, Савва по-итальянски не знал ни одного. Ион переводил, когда был рядом, но чаще его рядом не было, и они справлялись сами. Однажды я застала их на кухне в шесть утра. Они сидели друг напротив друга за длинным столом, перед каждым стакан чая, и Савва рисовал на салфетке что-то, кран, кажется, а Бачичча смотрел, кивал, отбирал у него ручку и пририсовывал к крану что-то своё. Оба молчали. Это продолжалось минут двадцать. Потом Бачичча что-то сказал по-генуэзски, а Савва ответил по-русски, и оба засмеялись, и я так и не поняла, о чём они говорили, и, кажется, они тоже.

Мама прилетела в субботу, пятого.

Я встречала её одна, как в марте. Марк не предлагал поехать со мной. Он просто сказал утром, что будет на «Маяке» и что, если надо, приедет за пять минут, и я поцеловала его за это в висок и уехала.

Она вышла из зоны прилёта не первой. Это я заметила сразу. В марте она вышла первой из всего самолёта, как всегда, а сейчас шла в середине толпы, медленно, с маленьким чемоданом, в светлом плаще, но без шарфа. И без Геннадия.

– Гена приедет к пятнице, – сказала она, когда подошла. – У него давление. Врачи не пускали.

Она поцеловала меня в щёку. Не воздухом. Губами. Сухими, тёплыми, коротко. Я замерла. Она это заметила и сделала вид, что не заметила.

В машине она не говорила про погоду. Она смотрела в окно на поля, на берёзы вдоль дороги, потом на сосны, и молчала. Когда мы свернули к косе, она сказала:

– Ты говорила с ним?

– Нет. Мне нельзя. Я свидетель.

– Мне тоже нельзя, – сказала мама. – Я тоже свидетель. Мне уже прислали повестку. На октябрь. Со стороны защиты.

Я посмотрела на неё. Она смотрела на дюны.

– Его адвокат хочет, чтобы я рассказала, что Шмелёв мне платил, – сказала она. – Каждое первое число. Чтобы суд видел, что Андрея держали за горло. Что он не сам. – Она помолчала. – Я расскажу. Я теперь всё расскажу, Вера. Я уже начала, в Генуе, на парапете. Не знаю, как остановиться.

Дома она поздоровалась с Марком за руку, коротко. С Бачиччей, долго, они говорили по-итальянски, и мама говорила медленно, с книжными гласными, и Бачичча слушал её внимательно и чуть наклонив голову, а потом сказал ей что-то, от чего она покраснела. Я не слышала что. Бруно подошёл к ней и сел рядом, не положив голову на колено, просто сел. Она посмотрела на него. Помедлила. Потом протянула руку и почесала ему за ухом, неумело, как чешут люди, у которых никогда не было собаки. Бруно закрыл глаза.

Вечером она пришла ко мне в комнату в башне. Постучала. Я открыла. Она стояла на пороге с той самой бархатной коробкой в руках, тёмно-синей, с белыми проплешинами по углам.

– Можно?

Я отошла от двери.

Она подошла к платью, которое висело у окна на вешалке, и долго на него смотрела. Потрогала рукав. Не сказала ни слова. Потом повернулась ко мне.

– Сядь, – сказала она.

Я села на край кровати. Она открыла коробку, достала серьги, жемчужные, на тонких золотых швензах. Наклонилась надо мной. Убрала мне волосы за ухо, холодными пальцами, и стала вдевать серьгу. Медленно. Она не попадала в прокол с первого раза и тихо ругнулась себе под нос, и я чуть не засмеялась, потому что ни разу в жизни не слышала, чтобы мама ругалась.

– Я их надевала в загсе, – сказала она, вдевая вторую. – С ним. Двадцать первого июня девяносто пятого. Было жарко, и у меня потекла тушь, и он смеялся. Сказал, что я похожа на енота. Я не разговаривала с ним до вечера.

Она отступила на шаг и посмотрела на меня.

– Тебе идут больше, чем мне, – сказала она. – Это правда, Вера. Это не комплимент. Я их не люблю. Я их надела один раз, и потом всё пошло так, как пошло. Я думала, что они несчастливые. Поэтому и отдала тебе в марте. Чтобы избавиться.

Я сидела и смотрела на неё. Она стояла в комнате в башне, в домашнем свитере, без косметики, с седыми корнями, которые не успела подкрасить, и говорила мне правду, некрасивую, неудобную, ненужную, и это было самое близкое, что она мне говорила за всю жизнь.

– Я их надену, – сказала я. – В субботу.

– Знаю, – сказала мама. – Поэтому и сказала. Чтобы ты надела, зная.

Она ушла. Я сидела на кровати с серьгами в ушах и смотрела на платье у окна. Маяк на соседнем мысу мигнул. Я посчитала до шести.

Во вторник вечером, в начале одиннадцатого, позвонила Горелова.

– Вера Андреевна, – сказала она. – Простите, что поздно. Я обещала, что буду сообщать про посещения. – Пауза. – Сегодня у вашего отца снова был Валли. Второй раз за неделю. Два часа сорок минут. Адвокат вашего отца, Сурков, присутствовал первые двадцать минут, потом вышел. Остальное время они говорили вдвоём.

– О чём?

– Не знаю. Это свидание с защитником, его не записывают. Валли приходит вместе с адвокатом из московской коллегии, который вчера заключил с вашим отцом соглашение. По журналу говорит в основном Валли. – Горелова помолчала. – Вера Андреевна, у вашего отца теперь два адвоката. Один наш, по назначению. И один из Москвы, которому платит Lanterna, а за ним стоит человек из Милана.

Глава 5

Colloquio (ит.) – свидание в тюрьме. В итальянском так же называют и собеседование при приёме на работу. Тот, кто сидит по ту сторону стола, в обоих случаях решает, пустят ли тебя дальше. А. Л.

Ниже, карандашом: «Меня не пустили».

Ходатайство о свидании я подала ещё в понедельник утром, на следующий день после маминого приезда.

Я писала его в воскресенье ночью, на кухне, при настольной лампе, четыре раза. Первый вариант был на две страницы. Я перечитала его и поняла, что это не ходатайство, а письмо, и что в нём через каждые три строчки стоит «папа». Я его порвала. Второй вариант был сухой, по форме: я, такая-то, дочь обвиняемого такого-то, прошу разрешить краткосрочное свидание в соответствии со статьёй такой-то. Его я тоже порвала, потому что он был ложью: я писала его так, будто прошу о чём-то обычном, а это не было обычным. Третий был средний. Четвёртый я отправила.

Я понимала, что откажут. Я знала закон. Я свидетель по делу, это раз. Я эксперт, который подал самоотвод, это два. Следствие и суд имеют все основания полагать, что моё свидание с обвиняемым может повлиять на показания, это три. Мне откажут в один день, вежливо, со ссылками. Я всё это понимала. И всё равно писала до двух ночи, и Марк дважды спускался, смотрел на меня от лестницы и поднимался обратно, ничего не сказав.

Отказ пришёл во вторник, в одиннадцать утра, ещё до звонка Гореловой. Вежливый, со ссылками. Ровно такой, каким я его себе представляла. Я прочитала его на террасе, сложила, положила в дневник, между страниц, и записала время.

Во вторник днём приехал Сурков.

Это адвокат папы по назначению. Немолодой, лысоватый, в коричневом пиджаке, с усталым лицом человека, которому в этом деле достался самый неприятный кусок и который делает его честно. Он позвонил с утра, спросил, можно ли подъехать, и приехал на старой машине, которую оставил у ворот, будто стеснялся заезжать.

Мы сидели на террасе. Мама была в доме, наверху. Марк ушёл с Бруно на дюны, сказав, что вернётся через час, и я видела по его спине, когда он уходил, что он сделал это нарочно.

– Вера Андреевна, – сказал Сурков. – Я не должен этого делать. Вы свидетель. Передавать вам что-либо от обвиняемого я не имею права, и вы это знаете лучше меня. – Он полез во внутренний карман пиджака. – Поэтому я вам ничего не передаю. Я просто забыл это на столе.

Он положил на столик между нами сложенный вдвое листок. Тетрадный, в клетку, вырванный аккуратно, по шву. Встал, сказал, что ему пора, что у него в три слушание, что он рад был познакомиться, и что если я когда-нибудь буду в его районе, пусть заезжаю. Он ушёл. Я слышала, как завёлся его старый мотор.

Я развернула листок.

Синяя ручка, бледная, с нажимом. Папин почерк. Не по-русски. По-генуэзски, мелко, в одну строчку.

«Te aspëto in tribunâ, Verina».

Я жду тебя в суде.

Я прочитала это раза три. Потом повернула листок к свету. Генуэзский у папы был такой же, как в тетради «Genova 2011», которую я фотографировала в банке, с той же манерой ставить долготу над «ё», которую он ставил всегда, хотя в половине словарей её не ставят. Он писал для себя так, как привык. Он писал мне так, чтобы я узнала.

Строчка была одна. Больше ничего. Подписи не было.

А под ней, в правом нижнем углу листа, совсем мелко, не словами, а цифрами, стояло: «12.09».

Единица с длинным носиком. Двойка с петлёй внизу. Девятка с хвостом. Европейские цифры, которые он научил меня писать и за которые мне в пятом классе снижали оценки.

Двенадцатое сентября. Через четыре дня. День, когда я в платье цвета воды в Боккадассе на рассвете, с бабушкиными серьгами в ушах, должна была стоять у развалин кирхи на косе.

Я сидела на террасе и смотрела на эти цифры, и пыталась понять, что они значат. Это поздравление? Он знает дату, он помнит, он думает обо мне. Это напоминание? Что бы я ни делала в этот день, он будет сидеть в камере в нескольких километрах и думать обо мне. Или это что-то другое. Что-то, что он знает, а я нет. Что-то, что должно случиться двенадцатого.

Я не знала. Я двадцать лет нахожу смысл в любой фразе. Здесь смысла было три, и все три подходили, и я не могла выбрать.

Марк вернулся с Бруно через час, как обещал. Мокрый, с песком на ботинках. Бруно сразу пошёл ко мне и лёг у ног. Марк остановился в дверях на террасу.

– Был? – спросил он.

– Был. Забыл на столе.

Я протянула ему листок. Он взял. Посмотрел. Генуэзскую строчку он, конечно, прочитать не мог, хотя слово «Verina» узнал, я видела по лицу.

– Переведи, – сказал он. – Как есть.

– «Я жду тебя в суде, Верина», – сказала я. – Дословно. «Aspèto» – жду, первое лицо. «In tribunâ» – в суде, но в генуэзском это слово чуть шире, это может быть и «в зале суда», и вообще «там, где судят». Он выбрал диалектное слово, хотя мог написать по-итальянски. Он хотел, чтобы прочитала только я.

– А это?

Он показал пальцем на цифры внизу.

– Двенадцатое сентября, – сказала я. – Суббота.

Марк долго смотрел на цифры. Я видела, как он думает. Не так, как я, перебирая значения. По-другому. Он смотрел на листок так, как смотрел вчера на фотографию, сбоку, ища, где у вещи слабое место, куда может пойти нагрузка.

– Это не поздравление, – сказал он наконец.

– Я тоже так думаю. Но я не знаю, что это.

– Я тоже не знаю. – Он вернул мне листок. – Но твой отец пятнадцать лет переводил для людей, которые никогда не пишут дату просто так. И вчера к нему ходил человек, который сказал мне «это не угроза, это расписание».

Я сложила листок. Убрала в дневник, рядом с отказом в свидании.

Ночью я не спала. Я лежала в комнате в башне, рядом с Марком, и смотрела в круглое окно. Платье висело у стены, и в темноте оно было серым, без цвета, только край рукава светился, когда маяк на соседнем мысу мигал. Я считала до шести. Потом снова до шести. Марк спал на боку, тихо, его рука лежала у меня на животе, тяжёлая и тёплая.

Около трёх я встала, тихо, чтобы не разбудить, спустилась на кухню и открыла ноутбук. Я завела новый файл и назвала его «12.09». И записала туда всё, что знала, по порядку, как записываю перед сложным синхронном: письмо, «только твоим голосом», фотографию, Ткача, Валли, «это не угроза, это расписание», два визита в СИЗО, двух адвокатов, «я жду тебя в суде», цифры.

Получилось двенадцать строк. Я посмотрела на них. Они не складывались ни в одно слово. Но они складывались в ритм. Я это слышу, когда в синхроне говорящий ещё не дошёл до главного, но уже набирает воздух. Пауза перед глухой согласной. Вдох.

Двенадцатое сентября было вдохом. Я не знала, каким будет звук.

Глава 6

Ospite (ит.) – гость. И одновременно хозяин. Одно слово для того, кто принимает, и для того, кого принимают. Итальянцы считают, что за одним столом разницы нет. А. Л.

Ниже, карандашом: «Марк спросил, как будет "ни то, ни другое". Я сказала: семья».

Ассунта с Нинеттой прилетели в среду вечером. Я поехал за ними сам. Вера хотела поехать со мной, но у неё в шесть была встреча с Эльвирой по поводу октябрьских показаний, и я сказал, что справлюсь. Она посмотрела на меня с сомнением, потому что я не говорю по-неаполитански, а Ассунта не говорит по-русски, и по-итальянски мы с ней тоже вряд ли договоримся.

Мы договорились.

Нинетта вышла из зоны прилёта первой, бегом, с рюкзаком в виде божьей коровки за спиной, в жёлтой куртке и с двумя косичками, которые торчали в разные стороны. На шее у неё на тонкой цепочке висел серебряный медальон с Мадонной. Она остановилась посреди зала, огляделась, увидела меня и ткнула в меня пальцем.

– Tu sei Marco, – сказала она. Ты Марк.

– Sì, – сказал я.

– Sei grande, – сказала она. Большой.

Это я понял. Я кивнул. Она подумала и протянула мне руку. Я пожал. Она посмотрела на мою руку в своей, маленькой, потом на меня и засмеялась, и сзади к нам подошла Ассунта, с чемоданом, высокая, в чёрном, уставшая, и сказала что-то дочери строго, а потом посмотрела на меня и вдруг шагнула и обняла. Так, как обнимают в Неаполе, всем телом. Я стоял посреди аэропорта и не знал, куда деть руки. Потом положил одну ей на спину. Она отпустила, вытерла глаза и сказала по-итальянски медленно, чтобы я понял:

– Grazie. Per lei. Per Vera.

Спасибо. За неё. За Веру.

Я не знал, за что именно она меня благодарит. Я ничего не сделал для неё. Это Вера отвезла медальон. Это Вера сидела с ней в бассо и слушала голос Луки. Я тогда остался в Генуе. Но Ассунта, видимо, считала по-другому, и я не стал спорить.

В машине Нинетта сидела сзади и разговаривала сама с собой, громко, по-неаполитански, и показывала пальцем в окно на всё, что видела: на сосны, на поля, на коров у обочины. На коров она показывала дольше всего. Ассунта сидела рядом со мной и молчала, глядя на дорогу. Один раз она спросила, далеко ли море. Я сказал, что двадцать минут. Она кивнула.

На «Маяке» нас ждали все. Вера уже вернулась от Эльвиры и стояла у ворот. Бачичча и Ион стояли на крыльце. Савва выглядывал из кухни. Даша с Корсаком сидели на ступенях. Мама Веры стояла у стеклянной стены гостиной, внутри, и смотрела через стекло.

Бруно вышел встречать первым. Он спустился по ступеням крыльца, подошёл к машине и остановился, когда Нинетта открыла дверь. Чёрный, огромный, выше её головы, когда стоит. Нинетта замерла на сиденье. Ассунта схватила её за руку. Я видел, как напряглись у неё плечи.

– Bruno, – сказала Вера от ворот тихо. – Piano.

Бруно сел. Медленно, аккуратно, прямо у открытой двери машины. Положил морду на порог. И посмотрел на Нинетту снизу, как смотрит на Веру.

Нинетта долго смотрела на него. Потом слезла с сиденья, отпустила руку матери, подошла и положила ладонь ему на лоб. Бруно закрыл глаза.

– Si chiama Bruno, – сказала Вера.

– Brunì, – сказала Нинетта, сразу, по-своему, как будто знала его всю жизнь. – Brunì, vieni.

И пошла к дому. И Бруно пошёл за ней.

Весь вечер он не отходил от неё. За ужином лежал под её стулом. Когда она пошла на дюны с Дашей, пошёл за ними. Когда Ассунта уложила её спать в гостевой на втором этаже, он лёг у двери, поперёк порога, и не ушёл, даже когда я позвал. Вера стояла рядом со мной в коридоре и смотрела на него.

– Он её охраняет, – сказала она.

– Он тебя тоже так охранял.

– Он меня сначала ненавидел, – сказала Вера. – Ты помнишь. Две недели рычал.

– Он не ненавидел. Он проверял.

Она посмотрела на меня. Улыбнулась уголком рта.

– Это ты про себя.

Мы сидели на террасе допоздна. Все, кроме Нинетты. Савва принёс на стол то, что осталось от ужина, Бачичча принёс свою граппу, Ион бегал между нами и переводил, и на террасе одновременно говорили на четырёх языках, русском, итальянском, генуэзском и неаполитанском, и Ион путался и злился, и все над ним смеялись. Ассунта сидела рядом с мамой Веры, и они о чём-то разговаривали, медленно, по-итальянски, обе с ошибками, и я видел, что Ассунта держит руку на руке Людмилы Сергеевны, и та не убирает. Эльвира приехала в одиннадцатом часу, с бутылкой и сигаретами, и сказала, что приехала проверить, все ли трезвы, и что тест провалили все. Даша сидела у Корсака на подлокотнике. Корсак держал её за талию, одной рукой, и смотрел на залив, и молчал, как всегда, только лицо у него было такое, какого я за пятнадцать лет у него не видел.

Я сидел во главе стола. Не потому, что так положено. Просто так получилось, это было единственное свободное место, когда я вернулся с кухни. Я сидел и смотрел на них, на всех этих людей за моим столом, на моей террасе, в моём доме, и думал, что год назад здесь не было никого, кроме Корсака, Саввы и собаки. Что за этим столом я ужинал один, или с Антоном раз в месяц. Что полгода назад, в декабре, я думал, что если у меня есть порт и люди, которые меня боятся, у меня есть всё.

У меня не было ничего. Это я понял только сейчас. Не тогда, когда Вера ушла из «Кнехта», и не тогда, когда меня посадили в камеру. Сейчас, на террасе, в начале сентября, когда пожилая неаполитанская вдова держала руку на руке Вериной матери, а старый генуэзский докер наливал Савве граппу, и все говорили одновременно, и никто не обращал на меня внимания.

Я никогда не был хозяином этого стола. Я просто сидел во главе.

В час ночи все разошлись. Вера взяла меня за руку и повела не вверх, в башню, а вниз, к дюнам.

Ночь была тёплая, последняя, наверное, тёплая ночь в году. Залив лежал тихий, гладкий, и в нём отражались звёзды, все, сколько было, и маяк на соседнем мысу мигал над водой, и его свет ложился на воду длинной жёлтой полосой и гас. Мы спустились по деревянной лестнице к песку. Вера сняла обувь. Я тоже. Песок был ещё тёплый сверху и холодный, если копнуть ногой.

Мы шли вдоль воды долго, молча. Потом Вера остановилась у старого бревна, того самого, выбеленного солью, на котором мы в июне написали в её дневнике три слова и расписались. Села. Я сел рядом.

– Через три дня, – сказала она.

– Через три дня.

– Ты боишься?

– Да.

– Свадьбы?

– Двенадцатого числа, – сказал я. – Цифр на листке. Того, что твой отец знает что-то, чего мы не знаем.

Она кивнула. Положила голову мне на плечо.

– Я тоже, – сказала она. – Ни одного молчания. Я боюсь, что двенадцатого что-то случится, и я буду стоять у кирпичи в платье, и что-то случится, и я не успею понять, что именно.

Мы сидели так долго. Потом она подняла голову и поцеловала меня.

Это было не как в июне, на этом же бревне, и не как в Генуе. Медленно, тихо, почти лениво, как бывает у людей, которые уже знают друг о друге всё и которым некуда торопиться. Она расстегнула мне рубашку, пуговица за пуговицей, и положила ладонь мне на грудь, туда, где сердце, и держала, и я чувствовал её шрам на своей коже. Я спросил, можно ли. Она засмеялась тихо мне в шею и сказала, что я спрашиваю даже здесь, на пустом пляже, под звёздами, через три дня до свадьбы. Я сказал, что буду спрашивать и через тридцать лет. Она перестала смеяться и сказала «да».

Песок был холодный под спиной, когда я лёг, и тёплый под ладонями, и она была тёплая, и над нами было небо, всё, сколько было, без единого облака. Она не держалась за меня так, как держалась в Генуе, на рассвете, будто прощается. Она держалась так, как держатся за того, кто никуда не денется. Я это чувствовал. Опора была одна на двоих, и она держала.

Потом мы лежали на песке, и она лежала у меня на плече и смотрела вверх. Маяк мигал. Волны шуршали у наших ног, иногда доставали до пяток, и Вера поджимала ноги и смеялась.

– Марк, – сказала она.

– М?

– Если двенадцатого что-то случится. Если не получится. Мы всё равно поженимся.

– Всё равно.

– Обещаешь?

– Обещаю.

Мы вернулись в дом в начале второго. Поднялись в башню. Вера сразу уснула, едва легла, тихо, лицом к стене, поджав колени. Платье висело у окна. Я лежал и смотрел на него. Маяк мигнул, и край рукава на секунду стал жёлтым.

Телефон завибрировал на тумбочке в 01:52.

Я взял его быстро, чтобы не разбудить Веру. Вышел на лестницу. Номер был знакомый. Не Корсак, не Антон, не Эльвира.

– Марк Александрович, – сказал Байков. Голос у него был ровный, вежливый, как всегда, только чуть тише, чем обычно. – Простите за поздний звонок. Я сегодня получил письмо.

– Какое письмо?

– Анонимное. – Он помолчал. – Пришло в управление по почте. Я его прочитал. Потом прочитал ещё раз. Мне придётся с ним работать, Марк Александрович. Я хотел, чтобы вы узнали это от меня, а не от кого-нибудь другого.

Глава 7

Аноніто (ит.) – анонимный, безымянный. От греческого «без имени». Но нет текста без автора. Автор есть всегда, просто он прячется в синтаксисе. Найди его там, и он заговорит.
А. Л.

Ниже, карандашом: «Этот прятался в датах».

Байков пригласил нас в четверг, в десять утра. Нас – это Марка и Эльвиру. Меня он не приглашал. Эльвира позвонила мне в половине девятого и сказала, что я еду с ними.

– Он тебя не звал, детка.

– Тогда зачем мне ехать?

– Затем, что письмо анонимное, – сказала Эльвира. – А ты единственный человек в этом городе, который может посмотреть на текст и сказать, кто его писал, по запятым. Байков это знает. Он не позвал тебя, потому что не имеет права звать. Но если ты будешь сидеть со мной рядом, а я буду адвокатом, а письмо будет лежать на столе, ты его прочитаешь. Ты не сможешь не прочитать.

Байков встретил нас в коридоре на третьем этаже. Посмотрел на меня. Ничего не сказал. Открыл дверь кабинета и пропустил вперёд всех троих.

Кабинет был тот же, тесный, с одним окном, с чужим календарём с рыбалкой на стене. Сентябрь на календаре был с щукой. Лампа на столе под зелёным абажуром. Чай в одинаковых белых кружках. Байков налил всем, мне тоже, и сел. Перед ним лежала прозрачная папка, а в ней два листа.

– Письмо пришло во вторник, – сказал он. – Обычной почтой, конверт без обратного адреса. Отправлено из почтового отделения на Портовой. Отпечатков нет, кроме сотрудников почты и моего секретаря. Напечатано на принтере, обычная бумага, шрифт стандартный. – Он посмотрел на Марка. – Я не обязан вам его показывать. Вы не подозреваемый. Пока. Но я хочу, чтобы вы прочитали его здесь, при мне, а не слышали пересказ.

Он вынул листы из папки и положил на стол перед Марком.

Марк читал. Медленно, как всегда, до конца каждой строки. Эльвира читала через его плечо, держа очки на кончике носа. Я сидела на стуле у стены и не читала. Я ждала.

Марк дочитал. Положил листы на стол. Посмотрел на Байкова.

– Это ложь, – сказал он.

– Я ещё ничего не спросил, – сказал Байков.

– Вы спросите.

Эльвира взяла листы. Перечитала. Потом посмотрела на меня. Я встала, подошла к столу и протянула руку. Байков ничего не сказал. Эльвира отдала мне листы.

Текст был короткий. Две страницы через полтора интервала, ровные абзацы.

Автор сообщал, что является непосредственным исполнителем убийства Виктора Лапина, совершённого на причале номер семь порта Зееград в сентябре прошлого года. Что убийство было совершено по прямому указанию Раевского М. А., руководителя холдинга «Северная гавань», которому автор подчинялся в течение многих лет. Что мотивом убийства послужило намерение Лапина передать правоохранительным органам сведения о незаконной деятельности Раевского. Что автор готов дать подробные показания, назвать место хранения орудия преступления и подтвердить свою роль, в рамках сотрудничества с правосудием, в обмен на гарантии защиты свидетеля и смягчение ответственности. Что автор опасается за свою жизнь и жизнь своей семьи, поскольку Раевский располагает возможностями. Что в доказательство серьёзности своих намерений автор сообщает следователю деталь, которая не была опубликована: Лапин был застрелен с расстояния около трёх метров, одним выстрелом. Дата внизу. Подписи нет.

Я прочитала его один раз, быстро, чтобы понять смысл. Второй раз медленно, чтобы услышать. Третий раз не смысл и не голос, а то, как он сделан. Как я читаю протокол, который кто-то потом пытается оспорить: не что сказано, а как поставлено.

– Вера Андреевна, – сказал Байков. – Я не прошу вашего мнения. Официально. Вы понимаете.

– Понимаю.

– Но если вы что-то заметите, а я этого не замечу, я буду очень плохим следователем.

Я положила листы на стол.

– Это писал не исполнитель, – сказала я.

Марк повернул голову. Эльвира сняла очки.

– Почему? – спросил Байков.

– Посмотрите на лексику. Человек, который пятнадцать лет работал бригадиром на причале, или стропальщиком, или охранником, не напишет «в рамках сотрудничества с правосудием». Он напишет «сдам всех», или «расскажу», или «пойду на сделку». Даже если ему диктует адвокат, он напишет «на сделку со следствием», это наш язык, его все знают по сериалам. «Сотрудничество с правосудием» – это не наш оборот. Это калька. С итальянского. *Collaborazione con la giustizia*. Так в Италии официально называется программа для раскаявшихся мафиози, *pentiti*. Это термин из их уголовного права, и итальянские юристы пишут его автоматически, как мы пишем «в установленном порядке».

Байков взял листы обратно. Нашёл строчку.

– Дальше, – сказала я. – «Раевский располагает возможностями». Без дополнения. По-русски так не говорят, по-русски скажут «у Раевского есть возможности» или «Раевский располагает возможностями для...», и дальше что-нибудь. А в итальянском есть устойчивое «*disporre di mezzi*», «располагать средствами», и его часто оставляют без дополнения, потому что всем понятно, каких средств. Это вторая калька.

– И третье, – сказала я. И показала пальцем на дату внизу.

«07/09».

– Косая черта, – сказала я. – Не точка. В России дату пишут через точку, десять точка ноль девять. Через косую черту пишут в Европе и в Америке. Человек, который всю жизнь заполнял накладные в нашем порту, пишет через точку, у него рука сама ставит точку, потому что так в каждой бланке, который он видел. А тот, кто писал это письмо, привык к косой черте. Он не заметил.

В кабинете стало тихо. За окном кто-то парковался во дворе, хлопнула дверца машины.

Байков долго смотрел на дату. Потом снял очки, протёр их платком, медленно, каждое стекло отдельно, и надел обратно.

– Вы хотите сказать, – сказал он, – что письмо от имени исполнителя написал итальянский юрист.

– Я хочу сказать, что текст составлял человек, для которого родной язык итальянский, а русский рабочий, хорошо выученный. Он писал аккуратно, без ошибок, но думал по-итальянски. Это слышно. – Я помолчала. – Может быть, исполнитель существует. Может быть, он готов давать показания. Но это письмо писал не он. Он, может быть, даже не читал его. Он, может быть, просто сказал «да».

Эльвира смотрела на меня так, будто я только что выиграла за неё процесс, а она не знает, радоваться или пугаться.

– Деталь про три метра, – сказал Марк. Он сидел, положив руки на стол. – Её нигде не публиковали?

– Нет, – сказал Байков. – Её знает экспертиза, знаю я, знает Горелова. И тот, кто стрелял.

– И тот, кто стоял рядом, – сказала я тихо.

Байков посмотрел на меня. Он понял. Папа стоял в двух метрах. Он видел. И на этой неделе к нему дважды приходил человек из Милана, который пишет даты через косую черту. Почти пять часов в сумме.

– Я обязан работать с этим письмом, – сказал Байков. – Вы понимаете. Даже если его писал итальянец. Даже если я вам верю. В нём названо имя, названа должность, назван мотив, названа деталь, которую мог знать только участник. Я обязан проверить. Я обязан вызвать вас, Марк Александрович, и задать вам вопросы. Официально. Не как свидетелю.

– Когда? – спросила Эльвира.

Байков посмотрел на календарь с шукой.

– Я ещё не решил, – сказал он. – Но скоро.

Мы вышли в коридор. Эльвира сразу достала сигарету, хотя курить в здании нельзя, и сжала её в пальцах так, что та сломалась. Марк шёл рядом со мной молча. У лестницы он остановился.

– Вер, – сказал он. – Он сказал «скоро».

– Я слышала.

– Он ни разу не сказал мне «скоро». За полгода. Он всегда говорил «возможно, мы ещё увидимся».

Я посмотрела на него. Он смотрел на лестницу вниз.

Дома, в комнате в башне, я открыла файл «12.09» на ноутбуке и дописала тринадцатую строчку. «07/09. Косая черта. Collaborazione con la giustizia». Потом посмотрела на неё и дописала ещё одно слово, в конце, через тире. «Валли».

Тринадцать строк. Они всё ещё не складывались ни в одно слово. Но я теперь знала, кто ещё, кроме папы, пишет мне эту фразу.

Глава 8

Vigilia (ит.) – канун. От vigilare, «бодрствовать». Ночь перед праздником, когда никто не спит. В старой Генуе в канун свадьбы мужчины сидели в таверне до утра, а женщины молились. Утром выяснялось, кто был прав. А. Л.

Ниже, карандашом: «Мы все сидели в таверне».

В пятницу вечером мы сидели в «Кнехте». Все.

Савва закрыл бар для посторонних в шесть, повесил на дверь табличку «Закрывается», которую, по его словам, не вешал с девяносто первого года, когда в Зееград приезжал какой-то министр. Сдвинул столы в один длинный, через весь зал, от печки до стойки, накрыл двумя белыми скатертями, которые Даша привезла из города. Поставил на стол всё, что у него было, и ещё то, чего у него не было, но он ради этого ездил на рынок в пять утра.

Я сидел в углу, у печки, за тем самым маленьким круглым столиком с клеёнкой в синюю клетку, за которым, как рассказывал Савва, сидел по вечерам Андрей, когда переводил для итальянских капитанов. Я сел туда случайно. Потом понял, где сижу, и не пересел.

Эльвира сидела во главе длинного стола и командовала. Она привезла с собой три бутылки чего-то дорогого и одну бутылку чего-то очень дешёвого, «для настроения», и объявила, что главный тост она скажет завтра, у кирхи, а сегодня будет говорить только по делу. По делу она говорила полчаса, про то, как познакомилась со мной в двенадцатом году в коридоре суда, когда я пришёл с адвокатом, который был младше меня и боялся меня больше, чем судью. Все смеялись. Я тоже. Я этого адвоката не помнил.

Бачичча рассказывал про свою свадьбу, в семьдесят девятом, в Генуе, на которую жена опоздала на два часа, потому что её мать не отпускала. Ион переводил. Савва рассказывал про свою, в восемьдесят первом, на которую опоздал он сам, потому что его задержали в порту, а потом про то, как его жена тридцать лет спустя ушла к начальнику порта. Это все слышали уже раз десять. Все смеялись, как будто в первый раз. Ассунта рассказывала про свою, с Лукой, на свадьбе её двоюродной сестры, где он весь вечер наступал ей на ноги. Ион переводил с неаполитанского, путался, и Ассунта перебивала его и показывала руками, и было понятно без перевода.

Нинетта спала на диване у стены, под картой Балтийского моря, свернувшись клубком в своей жёлтой куртке. Бруно лежал на полу рядом, положив морду ей на ногу.

Вера сидела напротив меня через весь зал, в середине длинного стола, между Дашей и матерью. Она смеялась. Не так, как в Генуе, через силу. По-настоящему, откинув голову, держась рукой за Дашино плечо. Людмила Сергеевна сидела рядом с ней прямо, с бокалом, который не пила, и время от времени смотрела на дочь сбоку. Один раз протянула руку и поправила ей прядь волос за ухом. Вера не заметила. А я заметил. И Людмила Сергеевна заметила, что я заметил, и посмотрела на меня через зал, и я кивнул ей, и она не отвела глаз.

Геннадий приехал днём, как обещал. Сидел рядом с Антоном и рассказывал ему про судака. Антон слушал и кивал. Горелова сидела по другую руку от Антона и делала вид, что слушает тоже, но я видел, что под столом её рука лежит у Антона на колене. Она пришла сюда не как следователь. Она сама так сказала, когда вошла: «Я сегодня не на работе». Корсак посмотрел на неё долго, а потом кивнул и подвинул ей стул.

Я сидел у печки и думал.

Не так, как обычно думаю. Не про то, что надо сделать. Про то, что может случиться. Я этому научился, когда стал бригадиром, задолго до того, как стал Раевским. Перед сложной погрузкой ты стоишь на причале и смотришь на кран, на груз, на трос, на погоду, на людей внизу. И прикидываешь не как это сделать, а где это может сорваться. Какая опора не выдержит. Куда пойдёт груз, если трос лопнет. Кто окажется под ним.

Я так прикидывал сейчас.

Байков сказал «скоро». Письмо лежит у него в папке, и в нём моё имя, и деталь про три метра. Валли два раза был у Андрея. Андрей прислал Вере цифры. Двенадцатое сентября. Завтра.

Если Байков решит, что надо меня допросить как подозреваемого, он может сделать это в любой день. Он может выбрать любой день. И если ему кто-то подскажет, какой день выбрать, чтобы было больше всего, он, может быть, не послушает. Байков не такой. Но он следователь. Он обязан. И если в письме будет написано, что исполнитель боится, что Раевский скроется, и что свадьба – это удобный повод, а после свадьбы Раевский с женой улетят за границу, он обязан будет проверить и это.

Я прикидывал, можно ли отменить свадьбу. Перенести. Сказать всем, что заболела Вера, или я, или Савва. Тогда, что бы ни случилось завтра, это случится не у кирхи, не при всех, не при Веринной матери и Нинетте, не тогда, когда Вера будет стоять в этом платье.

Это было разумно. Это было бы правильное решение. Я двадцать лет принимал такие решения. Так поступают, когда видят, что груз может сорваться: отменяют подъём, пока не поменяют трос.

Я смотрел на Веру через зал. Она смеялась, держась за Дашино плечо, и в ушах у неё были бабушкины жемчужные серьги, она надела их сегодня, на репетицию, сказала, чтобы привыкнуть.

Я не отменил.

Я сидел у печки и понимал, что, если отменю, это будет то же самое, что звонок Корсаку в ту ночь, с фотографией. То же самое, что подарок в Нерви. Я опять буду решать за неё, что ей лучше. Опять буду закрывать её собой от того, что может случиться. Она не просила. Мы сидели на бревне на косе, три дня назад, и она сказала: «Если не получится, мы всё равно поженимся». Она уже решила. Она уже знала, что может не получиться. Она решила идти.

Я мог только идти рядом.

Эльвира постучала вилкой по бокалу. Все замолчали.

– Я обещала, что главный тост скажу завтра, – сказала она. – И скажу. Но сейчас я хочу сказать один маленький. Не тост. Наблюдение.

Она посмотрела на меня через весь зал.

– Мальчик мой, – сказала она. – Я тебя знаю четырнадцать лет. Я тебя видела в суде, в камере, на ступенях, перед камерами. Я видела, как ты врешь, и как ты молчишь, и как ты признаёшься. Я никогда не видела тебя таким, как сейчас. Ты сидишь в углу, у печки, за маленьким столом, а не во главе. И ни разу за вечер не посмотрел на телефон.

Я посмотрел на телефон. Он лежал на столике передо мной экраном вниз. Я его действительно ни разу не перевернул.

– За это, – сказала Эльвира и подняла бокал. – За то, что ты наконец научился сидеть не во главе.

Все выпили. Савва пролил на скатерть. Нинетта на диване проснулась от звона бокалов, села, посмотрела на всех мутными глазами и сказала по-неаполитански что-то, от чего Ассунта засмеялась так, что ей пришлось выйти на крыльцо.

Мы вернулись на «Маяк» в первом часу. Нинетту я нёс на руках, спящую, от машины до гостевой. Она весила как мешок с цементом, только тёплый, и всю дорогу держала меня за шею и бормотала во сне. Бруно шёл рядом и следил, чтобы я её не уронил. Ассунта открыла мне дверь гостевой, взяла у меня дочь, сказала «grazie» и закрыла дверь.

Вера уснула в половине второго. Я лежал рядом и не спал. Платье висело у окна. Я смотрел на маяк на соседнем мысу. Он мигал, и в его свете на подоконнике блестела коробочка с кольцами, которые завтра должен был держать Корсак.

В начале третьего я встал. Тихо, чтобы не разбудить. Спустился на кухню. Налил воды. Подошёл к окну, которое смотрит на дорогу к воротам.

У ворот стояла машина.

Тёмная, без огней. Мотор не работал. Я узнал её, хотя видел всего несколько раз: серый седан, служебный, с антенной на крыше. Такая машина стояла во дворе областного управления, когда я приезжал к Байкову.

Она просто стояла у ворот. Никто не выходил. Никто не звонил. Сквозь лобовое стекло, в свете маяка, когда он мигал, я видел силуэт на водительском месте. Человек сидел неподвижно и смотрел на дом.

Я стоял у окна со стаканом воды. Человек в машине не двигался. Я понял, что он не собирается ни звонить, ни выходить. Он будет ждать утра. Он приехал заранее, чтобы не опоздать, и теперь сидит и ждёт, потому что приличные люди не будят невест в три часа ночи.

Байков всегда был приличным человеком.

Я поставил стакан в раковину. Поднялся наверх. Лёг рядом с Верой. Она во сне повернулась ко мне и положила руку мне на грудь, туда, где сердце.

До утра я не спал. Я лежал и слушал, как она дышит, и как за окном у ворот, в тишине, ничего не происходит.

Глава 9

Sposa (ит.) – невеста. И жена тоже. Итальянцы не разделяют: в тот момент, когда ты надела платье, ты уже и то, и другое, даже если до кирхи не дошла. А. Л.

Ниже, карандашом: «Я не дошла. По-итальянски это ничего не меняет».

Утром мама застёгивала мне пуговицы.

Даша собиралась это сделать сама, она объявила об этом ещё в августе, но в семь утра пришла ко мне в комнату в башне, посмотрела на маму, которая уже стояла у окна с платьем в руках, и тихо вышла, сказав, что пойдёт варить кофе. Я слышала, как она спускается по винтовой лестнице и как на середине останавливается, и как потом идёт дальше.

Мама застёгивала медленно. Пуговицы были маленькие, обтянутые той же тканью, что и платье, и петли тугие, и её пальцы, тонкие, с выступающими венами, каждый раз немного дрожали, прежде чем попасть. Я стояла спиной к ней, лицом к круглому окну, и смотрела на залив. Утро было ясное, тихое, без ветра. Вода была светло-серая, почти белая у берега, и над ней висела лёгкая дымка, которая уже начинала подниматься.

Я считала пуговицы. Одна. Две. Мама молчала. На седьмой она остановилась, положила ладонь мне на спину, между лопаток, и подержала. Я не обернулась. Она продолжила.

На двадцать третьей внизу у ворот затормозила машина.

Я её не видела из окна, окно в башне выходит на залив, а не на дорогу. Я её услышала. Шорох шин по гравию, коротко, и мотор, который не заглох, а работал на холостых, как будто водитель не собирался задерживаться. Потом хлопнула дверца.

Мамины пальцы остановились.

– Это не гости, – сказала она.

– Нет.

– Гости будут к одиннадцати.

– Я знаю, мама.

Она постояла ещё секунду. Потом застегнула двадцать третью пуговицу. Двадцать четвёртую. Двадцать пятую. Медленно, аккуратно, с той же дрожью в пальцах, будто ничего не случилось. Внизу открылась входная дверь, и я услышала голоса. Марка. И ещё один, вежливый, ровный, тихий. Байкова я узнала бы из тысячи. У него очень чистая дикция, он ставит ударение точно в середину слова, как учат на курсах ораторского мастерства, и никогда не повышает голос в конце фразы.

Тридцатая пуговица. Тридцать первая. Мама застегнула последнюю, тридцать вторую, у самого воротника, и разгладила ткань ладонями, сверху вниз, по спине. Потом развернула меня к себе за плечи.

– Иди, – сказала она.

Я спустилась по винтовой лестнице в платье. Подол шуршал по каменным ступеням, и я держала его одной рукой, а другой держалась за холодные перила.

Они стояли в прихожей. Марк, в рубашке, без пиджака, с незастёгнутыми манжетами. Байков, в сером пиджаке и в плаще поверх, с папкой под мышкой. И Эльвира, которая, видимо, приехала раньше всех и раньше всех узнала, в домашнем, наспех, в старом свитере, без косметики, с сигаретой в руке, которую она даже не пыталась прятать.

Байков увидел меня на лестнице и замолчал на полуслове. Посмотрел на платье. Потом мне в лицо. Он не отвёл глаз, это я ему потом засчитала. Он посмотрел прямо и сказал:

– Вера Андреевна. Доброе утро. Простите.

– Что вы принесли? – спросила я.

Он протянул мне лист. Не Марку. Мне. Повестка. Раевский Марк Александрович вызывается на допрос в качестве подозреваемого по уголовному делу номер такому-то, возбуждён-

ному по факту убийства Лапина В. Г. Сегодня, двенадцатого сентября, в десять ноль-ноль. Следственное управление, кабинет триста шесть.

– Это не задержание, – сказал Байков. – Я хочу, чтобы вы это знали. Я не забираю его в наручники, я его вызываю. Он может приехать сам. С адвокатом.

– Почему сегодня?

Байков помолчал. Эльвира сзади него затянулась и выпустила дым в потолок.

– Вчера вечером пришло второе письмо, – сказал он. – Тот же отправитель. Тот же принтер. В нём сказано, что Раевский готовится покинуть страну сразу после свадьбы и что билеты на понедельник, на рейс через Стамбул, уже куплены. – Он посмотрел на Марка. – Я проверил. Билеты действительно куплены. Два. На понедельник.

– Это свадебное путешествие, – сказала Эльвира хрипло. – В Геную. К Бачичче. На неделю. Билеты обратные тоже есть, вы их тоже видели.

– Видел, – сказал Байков. – И обязан учитывать оба. Если я вызову его в понедельник, а он в понедельник будет в Стамбуле, у меня будут вопросы ко мне самому. Если я вызову его в воскресенье, это будет то же самое, только на день позже. Я выбрал сегодня утро, а не вчерашний вечер, потому что вчера вечером он был в «Кнехте», и я не хотел устраивать это при гостях. – Он снова посмотрел на меня. – Я приехал в три ночи. Я ждал у ворот. Я не стал будить.

Я смотрела на него. Я слушала его. Голос был ровный, честный. Он не врал. Он, может быть, даже жалел. Я это слышала по тому, как у него на «не стал будить» чуть опустилась интонация, совсем немного, на полтона.

Двенадцатое сентября. Цифры в правом нижнем углу листка, который Сурков забыл на столе. Европейская двойка с петлёй внизу.

Папа знал.

Не знал, может быть, что именно. Но знал, что двенадцатого. Ему сказал Валли. Или он сам сказал Валли. Письмо, которое приходит во вторник. Второе письмо, которое приходит в пятницу вечером, когда уже поздно что-то менять. Билеты, которые видит следователь. Следователь, который не может не прийти. И тот день, который выбирают не потому, что так удобнее следствию, а потому, что этот день кто-то хочет сломать.

– Я поеду, – сказал Марк.

– Я с тобой, – сказала Эльвира.

– Я тоже, – сказала я.

Все трое посмотрели на меня.

– Вера, – сказала Эльвира. – Тебя туда не пустят.

– Я знаю. Я буду ждать снаружи.

– В платье?

– В платье.

Марк шагнул ко мне. Взял меня за руки, обе. Посмотрел.

– Вер. Гости. Кирха.

– Савва скажет гостям, – сказала я. – Савва их накормит. Он полгода готовился. Гости не пропадут. – Я сжала его руки. – Я не переоденусь. Я уже надела. Ты сам говорил на косе: если не получится, мы всё равно поженимся. Значит, я уже невеста. По-итальянски это одно и то же. Он не спорил.

Корсак отвёз нас в город. Байков ехал впереди, на своей серой машине, медленно, будто показывая дорогу, хотя дорогу все знали. Я сидела сзади, рядом с Марком, и подол платья занимал половину сиденья, и Марк держал его рукой, чтобы он не попал под ремень безопасности. Эльвира сидела впереди и курила в открытое окно, и никто ей ничего не говорил.

У здания следственного управления Корсак остановился. Марк вышел. Эльвира вышла. Марк наклонился ко мне через открытую дверцу.

– Я позвоню, – сказал он.

– Не надо звонить. Я буду здесь. Выйдешь и увидишь.

Он посмотрел на меня ещё секунду. Потом выпрямился, повернулся и пошёл к дверям, рядом с Эльвирой, и Байков придержал для них дверь.

Я вышла из машины. Корсак снял свою куртку, тёмную, тяжёлую, пахнущую табаком и морем, и накинул мне на плечи поверх платья. Ничего не сказал. Я тоже.

На ступенях следственного управления я просидела восемь часов.

Это был серый гранит, широкие ступени, четыре пролёта, с чугунными перилами. В десять утра на них было солнце. К полудню солнце ушло за здание напротив, и стало прохладно, и я застегнула Корсакову куртку до горла. Подол платья лежал на граните, и к вечеру внизу, по краю, стал серым. Я не поправляла.

Люди проходили мимо. Сотрудники с папками, посетители, курьеры, двое полицейских в форме. Все смотрели на меня. Женщина в белом свадебном платье и в мужской куртке, на ступенях Следственного комитета, в субботу. Кто-то фотографировал на телефон. Я не отворачивалась.

В одиннадцать приехала Даша. С двумя стаканами кофе и пакетом из пекарни. Села рядом. Протянула мне стакан. Кофе был с корицей. Я не просила.

– Савва всех накормил, – сказала она. – Он увёз всех в «Кнехт». Сказал, что свадьба переносится, а еда нет. Бачичча там с ним. Ассунта с Нинеттой. Твой отчим рассказывает Антону про судака в третий раз.

– Мама?

– Мама едет сюда.

Мама приехала в начале первого. Одна, на такси. В светлом плаще. Поднялась по ступеням, медленно, держась за перила, и села рядом со мной, с другой стороны от Даши. Ничего не сказала. Просто села. Мы сидели так, втроём, на граните, и смотрели на улицу.

В час дня к ступеням подъехала машина с логотипом зееградского телеканала. Из неё вылез оператор с камерой и молодая журналистка с микрофоном. Даша встала, спустилась к ним по ступеням и минуты две что-то им говорила, тихо, наклонившись к журналистке. Та сначала спорила, потом посмотрела на меня, потом опустила микрофон. Оператор выключил камеру. Они уехали. Даша вернулась и села.

– Что ты им сказала? – спросила я.

– Что я тоже журналист, – сказала Даша. – И что если они сейчас снимут хоть кадр, я сделаю им такое расследование про их главного редактора, что они до пенсии будут снимать только погоду.

Мама рядом со мной фыркнула. Совсем тихо. Я посмотрела на неё. Она смотрела на улицу, но уголок рта у неё дрожал.

Около трёх пришли Бачичча с Нинеттой. Нинетта держала в руках бумажный пакет с фокаччей, которую Савва испёк по рецепту Бачиччи и которая была, как сказал Бачичча, «почти как настоящая, если не придирааться». Нинетта села на ступеньку ниже меня, положила голову мне на колени, прямо на платье, и съела почти всю фокаччу сама. Бачичча постоял рядом, посмотрел на здание, на окна третьего этажа, сказал что-то по-генуэзски, коротко. Я перевела про себя. «Они всегда допрашивают долго, когда сами не уверены». Он сел на ступеньку выше, за моей спиной, и положил свою огромную ладонь мне на плечо, поверх Корсаковой куртки. И не убирал.

Я сидела на ступенях, окружённая людьми, которые меня любили, в платье цвета воды в Боккадассе на рассвете, с бабушкиными жемчужными серьгами в ушах, и думала о том, что это и есть мой свадебный день. Не тот, который я себе представляла. Совсем не тот. Но в нём были все, кого я хотела бы видеть у кирхи, кроме одного. И этот один сидел сейчас в кабинете триста шесть и отвечал на вопросы, которые ему подсказал мой отец.

Я записывала время. В дневник, который лежал у меня в кармане Корсаковой куртки. 10:00. 11:04, Даша. 12:15, мама. 13:08, телевидение. 15:02, Бачичча и Нинетта. 16:30, Ион с термосом. 17:40, Корсак принёс плед. Я записывала, потому что иначе не могла сидеть.

Он вышел в шесть ноль четыре.

Я увидела его сразу, как только открылась тяжёлая дверь. Он вышел первым, Эльвира за ним. Рубашка мятая, манжеты по-прежнему незастёгнутые, лицо серое и очень спокойное. Он остановился на верхней ступеньке. Посмотрел вниз. На нас. На маму, на Дашу, на Бачиччу, на Нинетту, которая уснула у меня на коленях. На меня.

Он спустился. Медленно. Остановился на ступеньку выше. Эльвира осталась наверху и закурила.

– Я не задержан, – сказал он. – Подписка о невыезде. Свадебного путешествия не будет. Вопросы будут ещё. Много. – Он помолчал. – Пока.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.